

А ЖАВОРОНОК В ЯСНОМ НЕБЕ ПОЕТ, КАК ПЕЛ ВСЕГДА

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ западного мира пресытились благополучием. Их ежечасно гнетет ощущение греха, и они морщатся при одной мысли о том, что сердцу хочется петь. С помощью романов, стихов и пьес они пытались и пытаются изгнать надежду из человеческого сердца, но никому из них еще не удалось ни выманить, ни выкорчевать ее оттуда, хотя — да смилуется над ними бог — они не жалятся для этого сил. Для них надежда в человеческом сердце — дыхание ада, и они беспощадно высмеивают любого писателя, который все еще осмеливается оберегать и лелеять ее: им не нравятся песни жаворонка. Современные творцы стихов, эссе, пьес и романов слагают их, словно взвизывая на некую стену плача. Они пищут и с отчаянием бьют себя в грудь, стеная: «О ивушка, ивушка, ива!» Самые талантливые, самые лучшие из этих сынов утра плетутся по времени, как будто Жизнь навесила им на шею жернов, и их подгибающиеся ноги не в силах сделать более ни шагу. Персонажи их пьес и романов, мысли в их стихах — волочат ноги, словно подкованные свинцом души лицемеров, которые, спотыкаясь, бредут в глубинах дантова Ада. Они замуривают глаза, чтобы доказать, что человек родился слепым; они расслабляют руки и ноги, будто их члены никогда не были способны к движению; зато их рты ни на миг не умолкают, вновь и вновь повторяя, что человек потерпел поражение, что жизнь свернула на ложный путь и обрела лживое имя.

Нет, не люби, злосчастный праха сын!
Венок надежды — из цветов
Они благоухают час один,
И неизбежно увядание их.

Однако это верно лишь на первый взгляд, ибо земные цветы прекрасны, и, подобно человеку, они никогда не умирают: если они и увядают, то на их месте распускаются другие, столь же благоуханные, — вот почему цветы исчезают, только когда остановится время.

Каролина Нортон написала эти стихи и умерла за три года до того, как родился я, чтобы запеть иную песню — несмотря на тех, кто на разные голоса продолжал тянуть все ту же песню, — несмотря на Кафку, Бекетта, Ионеску, Элиота, Жене, Оруэлла, Олдоса Хаксли и Камю, несмотря на всех вождей множества благоговееющей интеллигенции, на эту великую галактику темных звезд, от которых тускнеет небо человечества. Многие из них — прекрасные писатели, но, на мой взгляд, они творят из истории Книгу Страшного Суда... Эти писатели — как они ни мрачны, как ни тяжко сомневаются в человечестве (а это поистине так) — все же остаются тонкими художниками и могут будить мысль даже затемненным своим видением; больше всех Джеймс Джойс и еще кое-кто. Но они не годятся для тех, кто переживает Весну жизни, не годятся для молодежи, видящей в грядущем великие свершения, как вижу их и я, хотя я стар и голова моя бела.

Это они, эпигоны, бескрыло заимствуют идеи своих учителей, это они сеют в западном мире отчаяние и то, что они называют ужасом жизни, не пробуждая мысли, как будили мысль произведений и стиль некоторых из их предшественников; как раз такие эпигонские душонки, мертвые душонки и стремятся убедить жизнь в том, что жить не стоит, что наша прекрасная Земля — всего лишь приют умалишенных, тюрьма, морг. Они даже пытаются научить свет поддельности под тьму. Каждая написанная ими

фраза предает жизнь, и все же они льнут к жизни, как льнет к стене плещ; они мертвой хваткой вцепляются в жизнь и, простудившись, вызывают врача. Они отказываются жить и стараются помешать жить другим.

В этом сердитом отрицании величия жизни, ее требований и радостей нет ничего нового. Много раз раздавался торопливый вопль, много раз негодующий кулак грозил богу и миру за то, что человек принужден переносить множество испытаний. Даже полнокровные, неутомимые деятельные елизаветинцы порой негодовали на природу, на пути провидения и на разочарования, которые приносит жизнь...

Для Шекспира жизнь часто надевает черную шалочку: в своих пьесах и сонетах он негодует на судьбу, насмехается над жизнью, потому что она полна опасностей и обманчива, потому что ее редкие радости столь же ненадежны, как ненадежна ясная погода апрельского дня; он кощунственно восстает даже против бога, в которого, как утверждают, он верил...

Но Шекспир недолго носится со своими горестями: он танцует и поет, даже когда они особенно черны:

В легкой пляске, с плеском рук
Сомкните круг

— и вот он уже забыл свое уныние. Он скорбит, провожая прах Гамлета или Лира, но тут же торопится в «Кабанью голову» распить бутылку вина с Фальстафом. Шекспир сталкивался с трудностями и отчаянием в театре, они подстерегали его на улице, чтобы напештывать ему на ухо черные слова, но поэт всегда был окружен роем светлых дум и скоро вырывался от этих мрачных советчиков, спеша вернуться к более светлым и святым своим делам. И у Мильтона тоже бывали темные минуты: к нему вызвали задумчивые души, его тревожили падшие духи, он видел Самсона, обаятого глубокой горестью и гневом, но между ними он замечал и держался за бока залихватистый смех. Китс изведаль полную меру страданий, долгое время он лежал, прикованный к постели, но умирающий поэт пел, как жаворонок в ясном небе; а когда приходила ночь, загорались звезды и жаворонок засыпал, грустное безмолвие глухих ночных часов нарушала песнь соловья.

В большинстве пьес, написанных сегодня и вчера, не нашлось места для смеха, для буйной или тихой веры в величие жизни и в простую человеческую доброту; неповторимое чудо путей человеческих не рождает в них ни восхищения, ни смеха, ни радости. Писатели думают только о собственной своей важности. Только что вышла книга, в которой спрессованы английские пьесы самых последних лет; предисловие к ним написано английским критиком Кеннетом Тайненом, который считает их «пьесами бунта». В этих пьесах нельзя заметить ни малейшего интереса к политике, и бунтуют они только против того, в чем видят принятие существующего порядка вещей, полностью игнорируя существование капитализма и коммунизма и всего, что с ними связано. Их персонажи пользуются языком тайнств, носят необычную одежду, наслаждаются своей личной философией, полностью отгородившись (как им кажется) от общества, в котором они живут. Это весьма безопасная форма бунта — вопли, посвященные собственной особе...

Одна пьеса поучает нас, что «все заклинилось, никто не в силах шевельнуться, никто не имеет ни малейшего значения». Другая надрывно вопит: «Правила, законы, руководство, обещания

Шон О'КЕЙСИ,
ирландский писатель

условия, гарантии, традиции — но всем чертам их!»

Великолепное евангелие, ничего не скажешь! Милая бы из нас получилась компания, очаровательной стала бы наша жизнь, если бы исчезли все правила и законы! Существовать без них мы могли бы, но жить — нет. В настоящее время — пока наше мышление и наши эмоции не станут гораздо более высокими — они необходимы для нашего гражданского и социального спасения. Задача заключается не в том, чтобы их уничтожить, а в том, чтобы сделать их лучше, полезнее для всех — и национальные, и международные установления. В этом мы следуем примеру природы, обладающей собственными законами. Как бы нам, например, понравилось, если бы Земля вдруг заупрямилась и объявила: «Мне до смерти надоело двигаться. Останусь-ка я тут», — и замерла бы на зимнем солнцестоянии? Тогда пришел бы конец посевам и жатве; у одних был бы вечный день, а у других — вечная ночь; мир был бы обжат холодом: нет, это никуда не годится! Ведь мы никогда больше не увидели бы чудесных бутонов мая! Мы подчиняемся правилам, когда идем на работу, когда идем в церковь, когда идем в больницу, когда идем развлекаться, — и мы будем подчиняться правилам, когда попадем на небеса или низвергнемся в ад.

Бунтовщики? Нет, эти драматурги не восстают против глупости, против несправедливости, — они просто бегут от жизни. И в этом виновата не жизнь, не звезды над ними, не земля под их ногами, не люди, окружающие их, — в этом виноваты они сами. Они, по-видимому, считают, что задают ритм всей вселенной и что тикание часов времени следует мертвым ударам их собственных сердец. Разочарование, неудачи, горе выпадают на долю всех; каждый человек знаком с ними. Это — личные переживания, и жизнь не обращает на них внимания, а продолжает идти своим путем. Их надо уметь терпеть, как мы терпим боль, надо преодолеть, чтобы стряхнуть тоску, которую они приносят с собой,

вновь принять участие в величественной битве за жизнь более светлую, более огражденную от случайностей.

Человек — единственное создание на земле, которое способно видеть ее облик и любить ее величие; он обогатил мир, который без него не имел бы смысла и казался бы мертвым — был бы мертвым. Он облагородил нашу планету...

Человечество в избытке располагает доблестными мужчинами и женщинами — да и добрыми самаритянами тоже, — безвестно живущими в глуши и в самых неожиданных уголках земли. В любую бурю спасательный катер выходит в море на помощь людям, гибнущим в бушующих волнах, на тонущем корабле; когда в Египте появляется холера, самолеты всех стран летят, чтобы помочь одолеть этот мор; во время налета на Лондон молодая сиделка остается в палате с тяжелобольными, которых нельзя унести в бомбоубежище, и гибнет вместе с ними; в Глазго грозит вспыхнуть эпидемия черной оспы, и вот доктора и сестры остаются в карантине с заболевшими — один из больных, доктор и сестра умирают, но угроза эпидемии предотвращена; тринадцатилетний мальчик видит двух тонущих в море девушек — он бросается в воду, спасает одну, плывет за второй и, изнемогая от усталости, спасает и вторую. Жизнь никогда не оскудевает героями, чаще всего не прославленными и невоспетыми, но всегда готовыми на подвиг.

Нередко утверждают, что Камю, Жене, Кафка и другие писатели того же толка «показывают нам уродство жизни, чтобы поднять нас на более высокую ступень нравственного прозрения, сообщить большую подлинность ощущению радости и счастья». Ах, вот как? Они не просто стараются, они прилагают все усилия, чтобы сделать уродство более уродливым, чем уродство бывает в жизни. Они словно верят, что, оторвав пестрые крылья бабочки, они сделают ее более прелестной, помогут ей взлететь выше. Трудно достичь такой глубины горечи и печали, каких порой достигал великий Стриндберг, но его исполненные поэзии пьесы проникнуты бесконечным состраданием, и в них неизменно звучит

мелодичный гонг надежды. В произведениях же этих неизбыточно унылых писателей нет ничего подобного бычьей туше, которую Рембрандт написал такими огненными красками, в форму которой он вложил столько изящества; в них нет ничего подобного зрелищу того, как на крыше угрюмого замка Стриндберга, его пылающего одинокого замка, бутон распускается в гигантскую хризантему.

Нашему миру присуще величие, а жизни — надежда. Наперекор отчаянию американских битников и европейских плакальщиц жаворонок в ясном небе по-прежнему поет песню надежды; и надежда, воплощаясь в действие, будет вечно творить великое, пока — быть может, через тысячу миллионов лет — Время не испустит свой последний вздох и все сущее не исчезнет.